

«ЧТО ЗА ЧУДОТВОРЕЦ ЭТОТ БАТЮШКОВ!»

В БУРЮ

Судорога, проклятая судорога... Клещами вцепилась в ступню, принялась сгибать ее, выкручивать, вызывая боль во всей ноге, потом во всем теле... Растерянность сменилась безысходностью: вот и все... Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя заходить слишком далеко, и особенно в море, если не можешь совладать со стихией.

Волна ударила в подбородок, в полураскрытые губы. Отрешенный взгляд мутно, подсознательно отметил глинистый обрыв и человеческую фигурку, пляшущую у кромки прибоя. А с моря надвигалась еще одна, огромная и уж для него-то, наверное, последняя волна. Она напоминала ему берег — уступчатая, почти отвесная. Только тот был рыжим на срезе и неизменно стоял на месте, а зеленая стена стремительно приближалась, хищно завиваясь белопенной верхушкой как раз в том самом месте, где берегу надлежало бы мирно зеленеть травкой.

Все силы ушли не на борьбу с бурей, а на преодоление боли, простреливающей мозг. Говорят, в такие секунды перед человеком проносится вся его жизнь. Так ли это?

Боль, одна невыносимая боль, слепящая пелена боли, заслонившая даже смертельную опасность...

Волна, которая должна была навсегда поглотить Константина Батюшкова вместе с его горестями и сомнениями, надеждами и разочарованиями, та самая волна

в один миг безжалостно швырнула его на берег, на камни и оставила в неловком положении: голова оказалась ниже туловища. Вода, попавшая в легкие, сама вытекла через полуоткрытый рот.

В те далекие времена, а шло знойное лето 1818 года, еще не знали ни легкой гимнастики, ни правил первой помощи на воде. Тогда целиком полагались на волю провидения, а ему было угодно оставить Константина Батюшкова в живых.

МИСТИФИКАЦИЯ

В школьные годы, когда по русской литературе мы «проходили» Пушкина, нас попутно знакомили с поэтами пушкинской поры. Манефа Сергеевна, наша старенькая учительница, часто приносила свертки, похожие на скатанные в трубку чертежи, разворачивала их и прикалывала к доске. Как правило, это были рисованные учеником из 10-го «Б» портреты старичков с тусклой отрешенностью во взоре, надменных вельмож...

Беглые впечатления от портрета и несколько характерных штрихов из биографии и творческого наследия — вот и все, что оставалось у нас в памяти. На более глубокое изучение не хватало времени — было это в войну, при светомаскировке, на третьей смене и к тому же — на последних уроках. Для нас, без пяти минут призывников, литература считалась не самым главным предметом.

Так и появился однажды в нашем классе при воспаленном свете электрической лампочки отрешенный от мира благообразный тщедушный старичок, вологодский помещик Константин Николаевич Батюшков. С рисованного «художником» из 10-го «Б» портрета упорно избегал смотреть на нас хмурый, мрачный поэт, которого даже великий Пушкин называл своим учителем. «А Пушкин такими аттестациями не разбрасывался!» —

строжайшим образом предупреждала нас Мәнефа Сѣргеевна. Но в памяти задержалась не трогательная элегия о Торквато Тассо, показавшаяся нам тогда и пышной, и витиеватой, хотя Манефа Сергеевна читала ее с выражением и повлажневшими глазами, а маленькое стихотворение:

*Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
Рабом родился человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез...*

— Это плод мрачных настроений и тяжелых раздумий, которые были так свойственны всем передовым людям того времени! — убежденно говорила Манефа Сергеевна. «С воплем души, проникнутым безысходной скорбью, поэт навсегда сошел с литературного поприща», — так или примерно так цитировала она кого-то из литературоведов.

Стихотворение это было одним из последних, написанных поэтом на пороге болезни. Во всяком случае, это утверждали некоторые очевидцы, которые лишь после смерти Батюшкова заметили изречение Мельхиседека на стене, «будто бы написанное углем».

Я невольно поежился тогда, на уроке, представив белым-белую стенку и на ней черные роковые строки. Незавидная биография учителя Пушкина укладывалась у меня всего в четыре слова: «...страдал, рыдал, терпел, исчез...»

И слова эти, и библейски седой Мельхиседек вполне гармонировали с портретом, прикрепленным к классной доске.

После уроков «художник» из 10-го «Б» спрашивал нас:

— Ну как портретик?

Выяснилось, что рисунок на ватмане — сплошная мистификация. Парень изобразил вовсе не Батюшкова, а... Мельхиседека, абстрактного, рабски покорного старца, каким он его себе представил, придав, правда, некоторое сходство с портретом самого Батюшкова, отысканным якобы в каком-то старинном издании.

Мы возмутились всем классом, но ничего не сказали Манефе Сергеевне, чтобы не расстраивать, и.. забыли. Не о Батюшкове, конечно, а о мистификации.

...Глубокий интерес к судьбе Батюшкова начался у меня с краха укоренившейся еще со школьных лет концепции о беспросветно-унылом существовании этого замечательного поэта и странного человека. Мне неоднократно приходилось сталкиваться именно с такой трактовкой его жизни: полная беспросветность, медленное угасание, трагический исход. Но неужели в творческой биографии Батюшкова, в его личной судьбе никогда не было высокого взлета, не оказалось момента, когда он начинал дышать полной грудью, когда хотелось совершать чудеса на земле?

Был такой взлет. Да, разумеется, был. Но до такого ответа добраться было на редкость непросто, как непроста была вся жизнь Батюшкова, одного из интереснейших литераторов начала прошлого века, историка древностей, тонкого ценителя и знатока искусств.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

До самого Кременчуга шли проливные дожди. Дорогу так развезло, что колеса увязали чуть ли не по ступицу. Лошади мучились, погонные злились, а два путника за их спинами пребывали в том состоянии безразличия и апатии, когда все уже переговорено, виды, медленно

открывавшиеся глазу, не радуют ни ум, ни сердце, когда на все сроки приезда хотя бы в промежуточный Николаев давно махнули рукой.

Ехали молча, каждый был погружен в свои неторопливые и нестройные думы.

Сосед Константина Батюшкова — закрытая наглухо шкатулка. Положение в свете у них как будто бы одинаковое, отношение друг к другу ровное, любезно-благодарное, а задушевности нет. Может быть, сказывалась разница в возрасте (восемь лет), да и в военном, и в житейском опыте тоже: у Константина Батюшкова за плечами три войны и тяжелое ранение, у Сергея Муравьева-Апостола — одна; у Константина Николаевича военная карьера уже закончена, а Сереже, Сергею Ивановичу, еще предстоит ее делать.

Нет, дело не в карьере и не в возрасте. Приветливый и внимательный Сережа, необыкновенная кротость которого, соединенная, по словам друзей, «с любезностью, живостью и остроумием — столь приманчива и блистательна», был просто скрытен перед Константином Николаевичем.

В Полтаве их бричка сломалась. Разумеется, каждый обрадовался непредвиденной задержке. Константин Николаевич отправился разыскивать князя Репнина, а Сергей встретился со своими однополчанами, причем не гнушался нижних чинов, долго и взволнованно говорил с ними.

В бричку садился явно чем-то раздосадованный, даже злой, но в ответ на деликатное любопытство Батюшкова отговорился какими-то пустяками, сущей бездельцей.

Столь дальний вояж в Одессу Сергей объяснял экстренной необходимостью повидаться с отцом — Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом. Тот якобы должен был составить ему протекцию в одном важном деле. Но все знали, что бывший русский посланник в Гам-

бурге, а затем в Мадриде Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, пользовавшийся благосклонностью Екатерины II, при Александре «благословенном» попал в опалу, оказался «не у дел» и вынужден был забиться в дальний угол империи, в Новороссию, чтобы заняться... подготовкой к путешествию по Тавриде. Какую протекцию он мог оказать сейчас, в его-то положении? Впрочем, давние связи, родство не всегда подвержены монаршей воле. Многие в России держались на связях да на родстве. Тот же Сергей помог Батюшкову в хлопотах об отставке. Взялся за дело со всей энергией, свойственной его возрасту и натуре. Они с Сергеем дальние родственники. Батюшков — племянник Михаила Никитича Муравьева, министра народного просвещения, попечителя Московского университета, известного писателя и общественного деятеля. А Михаил Никитич — двоюродный брат Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, отца Сережи.

Что бы делал Константин Николаевич без своего благодетеля, без дядюшки Михаила Никитича Муравьева? В Петербурге, да и в Москве, есть люди, которые откровенно завидуют Батюшкову. Потомок старинного дворянского рода, окончил лучшие частные пансионы Петербурга — Жакино и Триполи, где в совершенстве овладел французским и итальянским языками. Благодаря Михаилу Никитичу Батюшков введен в круг известных литераторов России, обрел дружбу таких людей, как Карамзин и Жуковский...

Взавший на себя труд перечислить имена высокопоставленных друзей и знакомцев Батюшкова со счета бы сбился. Но самое главное — не в этом. Главное — известность. Не было такого салона в обеих столицах, где бы не рассказывали трогательную историю о том, как юный порывистый Батюшков, вопреки воле отца в 1807 году, когда началась война с наполеоновской Францией, записался добровольцем в ополчение, как

в Пруссии после битвы под Гейльсбергом его вытащили из груды тел — своих и вражеских — с перебитой ногой. Подлечившись, через год он принимает участие в походах на Аландские острова и в войне со Швецией...

На всю жизнь запомнил Батюшков вступление в поверженный Париж. Он был тогда адъютантом Н. Н. Раевского-старшего.

«В Париж я вошел с мечом в руке,— писал он Жуковскому.— Славная минута! Она стоит целой жизни. Поверишь ли?.. Из Парижа в Лондон, из Лондона в Готтебург, в Стокгольм, в Або, в Петербург! Вот моя Одиссея! Поистине Одиссея, мы теперь подобны Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному»¹.

Еще с 1805 года Батюшков поддерживает тесные связи с «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств», а спустя десять лет принят в литературный кружок «Арзамас», который объединял избранные литературные силы России.

«Арзамас» был организован приверженцами и почитателями Карамзина в пику реакционной «Беседе любителей русского слова» адмирала Шишкова, ставившей своей целью извести нападками как карамзинистов, так и сторонников романтизма Жуковского. На заседаниях «Арзамаса» непрестанно звучали едкие эпиграммы в адрес шишковцев, полемические и сатирические стихи, готовились хитроумные мистификации.

Батюшков прочел здесь свою антишишковскую сатиру «Видение на берегах Леты», вместе со всеми осмеивал жалких эпигонов классицизма.

«Арзамас» повел серьезную борьбу за введение в литературу новых жанров, за более гибкий и близкий к разговорному русский язык. Правда, ратовали арзамасцы за чистоту литературного языка, рьяно споря по-французски.

В 1817 году в это общество приняли молодых участников: любимца Батюшкова, сына его благодетеля —

Никиту Михайловича Муравьева, юношу весьма образованного, начитанного и преуспевшего во многих науках, и выпускника Царскосельского лицея Александра Пушкина. Жуковский отозвался о нем восторженно, назвал «надеждой нашей словесности», а граф Уваров, тоже член «Арзамаса», откровенно поморщился. У него были основания выразить свое неудовольствие: юный поэт заражен свободомыслием, а граф как-никак попечитель Петербургского учебного округа.

Слишком уж разные люди были вовлечены в «Арзамас». На заседаниях то и дело разгораются страсти. Кружок сотрясают глубинные бури, неровен час — он развалится. Молодого Пушкина совсем не устраивают взгляды на изящную словесность не только шишковцев, но и самих арзамасцев. Новые члены кружка Николай Тургенев, Михаил Орлов вместе с Никитой Муравьевым ратуют за освобождение крепостных и в открытую говорят об этом. Шишковская «Беседа» недавно распалась, источник шуток и споров иссяк, поэтому Никита с друзьями и хотят повернуть «Арзамас» на опасную стезю политики. А пока принято решение: издать серьезный журнал и поместить в нем лучшие произведения членов кружка. Батюшков вместе с графом Уваровым взяли на себя переводы из греческой антологии. Уваров знает древний язык и делает переложение с греческого на французский. А Батюшкову предстоит облечь эти переводы в русскую стихотворную форму. Жуковский с Вяземским над столь многосложным распределением труда посмеиваются. Но Константин Николаевич не внял шуткам друзей и захватил уваровские переложения с собой в Одессу, надеясь выкроить время и основательно посидеть над ними.

...Батюшков вздохнул, устроил поудобнее затекшую ногу. Сергей озабоченно посмотрел на него.

Батюшков благодарно кивнул: что, мол, поделаешь, дорога есть дорога... Цветущий вид Муравьева-Апостола заставил с тревогой вспомнить о Никитушке.

Никита Муравьев и Сергей Муравьев-Апостол — ровесники. Ровесники и однодумцы. Кроткий и любезный Никита бросил однажды на заседании «Арзамаса» такую фразу: «Раб, прикоснувшийся к земле русской, становится свободным!» Сейчас Никита вынашивает замысел какой-то «конституции», толкует о «двухпалатном парламенте». Это в крепостнической, самодержавной России-то! Неужели нельзя найти занятие менее безнадёжное и более безопасное?

В их отношениях с Никитой образовалась и неуловимо росла трещина. Константин Николаевич очень любил его, пытался заинтересовать древностями, всячески выказывал свое расположение, лично ли, в письмах ли к его матери, но тот, совсем недавно еще такой милый и отзывчивый, вел себя все более отчужденно и сдержанно.

Батюшков написал даже послание в стихах «К Н(иките)», где достойно преподнес храбрость Муравьева-младшего, гвардейца, участника Отечественной войны 1812 года:

*...Как сладко слушать у шатра
Вечерней пушки гул далекий
И погрузиться до утра
Под теплой буркой в сон глубокий...*

Но Никите не пришлось по душе изысканная интимность лирики Батюшкова. Строгий и прямолинейный Никита чем дальше, тем больше недолюбливал своего родственника. Воззрения поэта Батюшкова шли вразрез со свободолюбивыми взглядами Никиты Михайловича Муравьева. Будущий руководитель Северного общества

декабристов все чаще склонялся к формуле непримиримых: кто не с нами, тот против нас. Он не желал обращать внимания ни на проскальзывающий время от времени интерес Батюшкова к декабристскому вольнолюбию, ни на немеркнущую его надежду быть верно понятым ими. Наконец, Никита Муравьев, в порыве молодости, совершенно не хотел брать в расчет упадок духа Константина Николаевича, связанный с делами любовными, глубоко личными.

Как рано взрослеет все-таки новое поколение... Отечественная война сделала Никиту зрелым мужем. Пушкин начал писать в четырнадцать, а в пятнадцать, то есть без малого четыре года назад, в «Российском музее» появилось его нашумевшее послание «К. Б-ву».

Перед самым отъездом в Одессу Батюшкову попало пушкинское послание «К Юрьеву». Он прочел его и не то с доброй завистью, не то в восторге воскликнул: «О, как писать стал этот злодей!».

Впрочем, пройдут годы, и Пушкин, прочитав с пером в руках томик стихов Константина Николаевича, поместит против особенно полюбившегося ему стихотворения «К другу»: «Что за чудотворец этот Батюшков!».

Одно ли только стихотворение имел в виду Александр Пушкин, называя Батюшкова «чудотворцем»? Ведь эти строки писал не какой-нибудь критик, а свой брат-поэт, который отменно знал о коллеге Батюшкове все, а если чего и не знал, то со свойственной ему прозорливостью догадывался, и прежде всего о том, сколь двойственно было положение несчастного пиита, «философа рсзвого», в обществе, сколь поистине нерукотворные усилия приходилось ему прилагать, дабы скрыть, сгладить эту проклятую двойственность.

За Батюшковым с легкой руки Пушкина, да и других арзамасцев, все более укреплялась слава беспечного певца радостей жизни, «парнасского счастливого ленивца», неторопливо слагающего восхитительные

стихи, отмеченные изысканной мелодичностью и музыкальностью.

В действительности же жизнь Батюшкова не была столь благополучной, как это казалось со стороны. В раннем детстве его вместе с сестрами отлучили от матери, тяжело и долго болевшей. Имение отца было на грани разорения. По окончании пансионов началось хроническое безденежье. Место делопроизводителя при министерстве народного просвещения вызвало жгучую ненависть к канцеляриям, к «ярму должностей ничтожных и суетных». Единственная отрада за эти годы — знакомство с поэтом Николаем Гнедичем — Николенькой, которое перешло в прочную дружбу.

Армейская служба оставила после себя лишь воспоминания, рану и пошатнувшееся здоровье. А затем самая глубокая душевная рана: разрыв с любимой.

Выход в свет литературного первенца — двухтомника «Опыты в стихах и прозе», на который Батюшков возлагал большие надежды, расстроил его окончательно. «Опыты» нашли отдельных ценителей, — писала критика, — но не произвели сильного впечатления на большинство читателей. Они имели успех почетный, но не увлекли толпы».

Батюшкова терзают безотчетные сомнения, тоска, душевные муки, им все чаще овладевает мрачная скука, так хорошо знакомая и Пушкину, и Грибоедову, и Лермонтову. Он жалуется Николаю Гнедичу: «Маленькое дарование мое, которым подарила меня судьба, конечно, во гневе своем, сделалось моим мучителем. Я вижу его бесполезность для общества и для себя».

В ноябре 1817 года Батюшков подает в отставку. Алексей Николаевич Оленин добивается утверждения его при Императорской публичной библиотеке почетным библиотекарем. Но вскоре умирает отец. Батюшков спешит в Вологодскую губернию, чтобы спасти остатки имения от продажи с торгов.

Возвратившись в Петербург в январе 1818 года, он принимается хлопотать о зачислении его в Дипломатический корпус. Ему необходимо было уехать куда-нибудь подальше, встряхнуться, переменить климат и образ жизни.

Докладная записка на имя министра иностранных дел застряла где-то в анналах многочисленных канцелярий. О. Батюшков хорошо знал, что такое российская канцелярия! Выручил Александр Иванович Тургенев. Будучи приближен к царю, он убедил Батюшкова подать прошение прямо на высочайшее имя с просьбой определить к одной из российских миссий в Италии. Почему именно в Италии? Константин Николаевич давно мечтал побывать на родине певца итальянского народа, великого поэта Возрождения Торквато Тассо, к тому же он отлично владел итальянским языком. Приехавший к тому времени из Белева Жуковский горячо поддержал идею Тургенева. Простение царю было написано. А пока попадет оно пред императорские очи — можно было поехать хоть на край света.

...И вот бесконечные степные просторы Малороссии. Путникам ехать еще долго. Уходит вдаль степная дорога, и на ней бричка с двумя людьми, которых спустя годы назовут цветом земли русской. Автор заметок «К биографии Батюшкова», опубликованных в «Русском вестнике» (т. 112, 1874 г., август), горестно вздохнет: «Один из них года четыре спустя тяжело заболеет, другой погибнет впоследствии... на виселице. Думали ли о такой ужасной судьбе полные жизни молодые люди... устремляясь на юг?!»

Думали ли?..

Когда после оглашения смертного приговора тревожно загремели барабаны, главе Васильковской управы Южного общества декабристов, руководителю восстания Черниговского полка Сергею Муравьеву-Апостолу исполнялось тридцать лет. Ровно столько, сколько

было выдающемуся поэту Константину Батюшкову, когда он ехал в Одессу поправлять здоровье.

ОТКРЫТИЯ, ЗНАКОМСТВА, РАЗГОВОРЫ...

После короткого отдыха в Николаеве Батюшков как будто бы воспрянул духом. Недавняя тоска, тяжесть на душе стали постепенно уходить, отдаляться. Константин Николаевич даже не пытался искать причины столь благотворной метаморфозы. Он боялся спугнуть непривычное свое состояние.

По дороге Батюшков сделал остановку в Ольвии.

Ольвия привела его в восторг. Целый день Константин Николаевич бродил среди развалин древнего города, подбирая черепки греческих сосудов, интересовался ценами на монетки и медали с гербами Ольвии. Некогда их находили множество во время полевых работ, а сейчас они все глубже уходили в землю или в карманы богатых путешественников, и цены на них были весьма внушительные.

Батюшков хотел приобрести несколько монет для своего покровителя А. Н. Оленина, перед которым испытывал неловкость: как все-таки беспардонно он пользовался его щедротами! Не успел Оленин исхлопотать ему должность почетного библиотекаря, как Батюшков отпросился в Вологду устраивать дела с имением. Только вернулся в Петербург, как подал прошение о зачислении в Дипломатический корпус. Не ожидая ответа, довольно настойчиво испросил увольнения для поездки на юг, в Тавриду.

Просился в Тавриду, а поехал в Одессу. Правда, он настаивал, чтобы ему дали возможность сочетать отдых с полезным времяпрепровождением, например, «отысканием древностей или рукописей на берегах Черного моря в местах, полных историческими воспомина-

ниями». Но Оленин лишь устало махнул рукой, очевидно, считая его неблагодарным, а просьбу — лишней отговоркой. Не мог и не хотел понять член Государственного совета, меценат Оленин, как тягостна поэт у Батюшкову должность хотя и почетного, но всего лишь библиотекаря, хотя и «его величества», но всего лишь библиотеки...

В другой раз при одном воспоминании о службе или вообще о столичной атмосфере у Батюшкова надолго бы омрачилось настроение. А сейчас? О, чудо!.. Не без тайной мысли потрафить-таки Оленину, увлекавшемуся археологией и собиранием древностей, он с прилежанием снял план ольвийского урочища и зарисовал вид его с Буга.

Батюшкова радовало и умиляло буквально все: «...В Ольвии отрыли трубу, которая больше 2000 лет лежала в земле. Она служила водопроводом. И странное дело! Из нее до сих пор струится вода в Буг... — писал он Оленину 17 июля 1818 года. — Из мертвой Ольвии я приехал в лучший из городов наших — Одессу!» Пятью днями раньше он шлет восторженное письмо Е. Ф. Муравьевой — своей тетушке и матери Никиты: «Я недавно был на могиле Ольвии и дышал тем воздухом, которым дышали мелезийцы — афинцы Азии. Геродот не выходит из рук моих. Это все для Никиты пишу, пусть у него слюнки текут. Как говорит пословица: пусть он мне позавидует. Один вид Черного моря, прекраснейшего из морей по словам Геродота, приводит меня в восхищение. Меня, невежду! А что было бы с ним?..»

Одесса встретила Батюшкова судами и пересудами, толками и кривотолками по поводу недавнего посещения сих мест императором Александром I. Бывший президент Одесского коммерческого суда, а ныне херсонский губернатор, имевший свой дом в Одессе, граф Карл Францевич Сен-При поведал Батюшкову, как

встречали в молодом городе сиятельную особу, как возили «его величество» в оперу и в дом Рено, сколь доволен остался царь перспективами и строительством Одессы и какими благодеяниями ее осыпал.

На правах старого друга (они были знакомы еще по военной службе, по Коменцу) Батюшков поселился в доме Карла Францевича. Лучшего в Одессе и желать было нельзя.

«...Отвечаю на письмо Ваше, дорогая тетушка, из Одессы, где я очутился после утомительной дороги. Здесь я нашел графа Сен-При и живу в гостеприимном его доме. Он ко мне ласков по-старому и все делает, чтобы развеселить меня: возит по городу, в итальянский театр, который мне очень нравится, к иностранцам, за город на море... Одесса — чудесный город, составленный из всех наций на свете, и наводнен итальянцами. Итальянцы пилят камни и мостят улицы, так их много! Коммерция его создала и питает... Я еще нов в городе и не знаю, как управиться с купанием, с жарами, с визитами. Одно мешает другому. Здесь я нашел Корсакова, он был у меня сию минуту... Здесь Новосильцев — знакомец Карамзиных, которым прошу обо мне напомнить. Благодарите за меня Тургенева, который деятелен для добра и для людей. Жуковский теперь у вас? Поклон ему душевный...» На этом же листе Батюшков описал Никитушке Муравьеву свои впечатления об Ольвии и поставил дату: 12 июля 1818 года.

Эпистолы родственникам и друзьям Константин Николаевич сочинял не у Сен-При в доме, где непрестанно бывали гости, а у нового знакомого — Ивана Павловича Бларамберга. Батюшкову импонировало то, что собиратель древностей, мечтатель и философ Иван Павлович — всего лишь скромный чиновник таможни, хотя мог бы достичь намного высшего положения. А Бларамбергу пришлось по душе пристрастие Батюшкова к греческой и римской истории. Между ними завязалось

дружество, непринужденное и обоюдозолезное. Иван Павлович предоставил Батюшкову в полное распоряжение свой кабинет. Только здесь и можно было сосредоточиться, отдохнуть от утомительных встреч, знакомств, впечатлений, наконец, укрыться от изнуряющей жары и всепроникающей пыли.

Батюшков не жалел о том, что вместо Тавриды зажил в Одессе. И в Петербурге, и в Москве все чаще появлялись весьма любопытные отзывы об этом молодом городе, который уже успели окрестить «Южной Пальмирой». Еще в 1800 году появились записки сенатора Павла Ивановича Сумарокова (племянника знаменитого Александра Петровича Сумарокова, «северного Расина», «отца русского театра») «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии». В 1799 году он объехал юг империи и вполне похвально отозвался об Одессе.

В 1810 году вышли в Москве «Письма из Крыма, Одессы и с берегов Азовского моря» негоцианта Шарля Сикара, а через два года, уже в Петербурге, — другая его книга «Письма из Одессы», в которой автор всячески возносил этот город. От этих «Писем» отдавало откровенной рекламой, в чем Батюшков, приехав в Одессу, убедился воочию. Шарль Сикар вел в Одессе обширную торговлю и был немало заинтересован в пробуждении интереса к городу не только в России, но и в Европе. А предшественник генерал-губернатора Новороссии — графа Александра Федоровича Ланжерона — герцог Эммануил де Ришелье всячески поощрял деятельность Сикара.

Часто бывая в доме Никитушки Муравьева, Батюшков слышал рассказы князя И. М. Долгорукого, которым на склоне лет овладела страсть к путешествиям. С шутками и прибаутками князь рассказывал о своем пребывании в Одессе, о том, как они с дюком де Ришелье спасались от турок на одинокой шлюпке, но попали к красавицам на бал; как добывал он в Одессе апельсины; да

что за чудная пыль там, да что за грязь, да что за бешеная дороговизна...

Князь отменно отзывался о людях, с которыми свела судьба его в юном городе, и особенно о гостеприимном Сен-При, тогда еще президенте коммерческого суда. Все рассказы Долгорукого выглядели в общем заманчиво. Ясно было со всей очевидностью: море в Одессе не хуже крымского. А если добавить, что в Одессу оказался попутчик — Сережа Муравьев-Апостол (в те времена было важно — ехать с попутчиком), что в Одессе жил Сен-При (ночлег и радушный прием), что рекомендательное письмо князя Гагарина адресовалось именно сюда — генерал-губернатору Новороссии графу Ланжерону... Двух мнений быть не могло: Константин Николаевич оказался в Одессе.

Он не мог знать тогда, что престарелый шутник и по весу князь Иван Михайлович Долгорукий, который всю жизнь писал очень плохие стихи, к старости лет вдруг обнаружит истинное призвание. Потихоньку, словно стыдись еще одной слабости своей, он написал полные юмора, порою сарказма, но всегда острые по силе наблюдательности и способности подмечать мельчайшие подробности и детали путевые очерки. Назвал он их по привычке игриво: «Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда» и положил в долгий ящик. А если бы не положил, Батюшков имел бы возможность прочесть серьезное для себя предупреждение. Князь вдребезги разругал одесское побережье с его опасными скалами, промоинами и неожиданными штормами. Да и применительно к Одессе Долгорукий не нашел высокопарно-хвалебных (как у других) слов, высказавшись вполне объективно: «Итак, отложим всякое пристрастие, не станем заблуждаться и согласимся, что Одесса по недавнему своему образованию очень хороша, но что она еще ни в сотую долю не доведена до той степени совершенства во всех частях, до какой назначает ей

сама натура и ее точка во Вселенной. И долго еще о ней хвастать надобно будет в журналах да газетах, дабы заманить туда любопытных».

Родственники Долгорукого отважились издать «Славны бубны за горами» полностью лишь через полвека.

А поток «любопытных» меж тем все увеличивался. И каждый видел в Одессе то, что хотел увидеть.

Батюшков увидел в ней «русскую Италию». («Письмо Ваше получил в Одессе, или в русской Италии...», «город наводнен итальянцами...», «...итальянская опера, которая здесь процветает...», «здесь более всего соотечественников Тасса и Сьерра-Каприола»...).

Мысли поэта все чаще обращались к Апеннинскому «сапожку»: к усыпальнице Торквато Тассо и раскопкам Помпеи, к знаменитым римским карнавалам и скромной русской миссии в Неаполе, куда он вскорости мечтал поехать, если, конечно, соблаговолит разрешить царь.

«Я знаю Италию, еще не побывав в ней!..» — высказался он после отъезда из Одессы.

Петр же Александрович Корсаков, которого поэт вскользь упомянул в письме к тетушке, касательно «Италии в Одессе» придерживался совсем иного мнения. Да, итальянцы живут в Одессе. Даже есть Итальянская улица и заложен Итальянский бульвар, который сейчас энергично застраивается, хотя не столько итальянцами, как показалось Батюшкову, сколько своими доморощенными «сардинцами». Итальянцев представляется много, потому что они на виду у всего города, будь то труппа в городском театре, горсточка посредственных актеров, изуверившихся в славе у себя на родине, или каменотесы, которым все равно, где мостить улицы, лишь бы платили.

Корсаков находил, что Одессу все больше и больше наводняет, даже не наводняет, а захлестывает мутная волна беглых из разных концов российской империи и

что крепостных, ударившихся в бег от своих помещиков, рекрутов, скрывшихся от набора в армию, и бывших участников всяческих беспорядков здесь гораздо больше, нежели думают в канцелярии генерал-губернатора.

А уж если толковать об иноземцах, то преобладают в городе болгары и греки, тоже изрядные бунтовщики. У Корсакова не укладывалось в голове, как Правительственный сенат додумался до указа: «Беглых разного звания людей зачислять в казенное ведомство, не различая, как они и откуда бежали». Это ли не лазейка, не потакательство всякому вору и разбойнику?

Корсаков с прошлого года затеял издание журнала «Русский пустынный, или Наблюдатель отечественных нравов». Журнал «дышал на ладан». Для поддержания марки его как истинного наблюдателя нравов Корсаков сам ездил по России и в Одессе жил не первый день. Он показался Батюшкову весьма любопытным собеседником.

Судьба Корсакова казалась Батюшкову копией его собственной. Корсаков ходил в писателях. Когда-то он публиковал стихи, поставил несколько своих и переводных пьес. По театральным делам состоял в переписке с самим Державиным, и тот к нему, говорят, благоволил. Корсаков опубликовал переводы голландских поэтов, но их признали неудачными, и он поступил в Дипломатический корпус, уехал в русскую миссию в Голландии. Издание журнала он предпринял по возвращении из-за границы с единственной целью — поправить свои дела.

Батюшков обстоятельно расспрашивал его о тонкостях службы на дипломатическом поприще, а по пятам расплывчатой тенью следовала назойливая мысль: тянись не тянись, пиши не пиши, выслуживайся не выслуживайся, а ждет тебя та же самая участь. Немного позже эта мысль, подкрепленная трагическими подробностями биографии Торквато Тассо и своего, отечествен-

ного неудачника — драматурга В. А. Озерова, укрепится, овладеет Батюшковым полностью и наконец выльется на бумагу горькими словами уходящего из жизни Мельхиседека.

Корсаков жаловался, что, затеяв «Русский пустыльник», он взял на себя труд «объять необъятное». Но во всех речах его сквозила отнюдь не фатальная обреченность, а твердое желание разделаться с помощью журнала со всеми своими недругами. Корсаков считал себя неудачником лишь потому, что у него-де много врагов. В себе он не сомневался. Он завидовал Батюшкову, его известности в высших литературных кругах и не мог простить ему одну публикацию, где Константин Николаевич пребольно задел его.

А «неудачник» Батюшков был уверен, что все беды проистекают из-за скудости «искры божьей», ему отпущенной, никого не винил в этих бедах, кроме себя, скромно довольствуясь им самим выведенной формулой: «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь, иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы».

Несколько лет назад Батюшков опубликовал «Похвальное слово сну», полемический очерк, в котором с присущей ему убедительностью и верой в правоту свою отделал борзописцев, «истощающих всякую древность от сотворения мира» в ущерб современному отечественному искусству.

В начале прошлого века началось повальное увлечение пьесами на библейские и античные сюжеты. Корсаков тоже написал довольно посредственную трагедию «Макковей», фабула которой была целиком позаимствована из библии. И статья Батюшкова была Корсакова не в бровь, а в глаз, хотя имя автора «Макковей» и не упоминалось. Тот вынужден был молча проглотить пилюлю. После постигшей его неудачи с трагедией Корсаков занялся переводами зарубежных поэтов на русский язык, затаив на Батюшкова обиду.

Однако это не мешало Константину Николаевичу делить время между Корсаковым и Сен-При, визитами и купанием. На море они ходили с Корсаковым, а визиты взял на себя Сен-При и с легкостью истинно светского человека перезнакомил Батюшкова со «всею Одессой».

Граф Карл Францевич де Сен-При немедленно соглашался с Корсаковым, когда тот углублялся в дебри рассуждений о необъятных пустынях России и редких оазисах на ее челе. Одессу Сен-При считал именно таким оазисом, ибо она, как магнит, с одной стороны притягивала деловитых негоциантов из-за границы, а с другой — все большее число высокопоставленных особ из империи. Приезд в Одессу Александра «благословенного», а затем его правой руки и фаворита Новосильцева лишний раз подтверждали это мнение. Сен-При прочил Новороссии великое благоденствие в самом ближайшем будущем. Благоденствие отнюдь не в том смысле, как понимали его офицеры 2-й армии, дислоцированной в Одессе². Многие из офицеров и их ближайших друзей не гнушались гостеприимного дома Сен-При, и в порыве споров у них не раз проскальзывали прозрачные намеки на предстоящие перемены в России, а нередко они так издевательски отзывались о своем родном царе, что даже иноземец Сен-При вынужден был переводить разговор на другую тему. Будущий пэр Франции обожал монархию, верил во всевышнего и понимал толк в обогащении. Поэтому благоденствие Одессы он видел только в развитии торговли и предлагал молиться сразу двум богам: богине плодородия Церере и Меркурию — богу торговли и мореплавания. Как святого пришествия в Одессе ожидали милостиво обещанного императором порто-франко. Поэтому Сен-При советовал молиться и за него. Именно свободный, беспошлинный ввоз товаров, по его мнению, предвещал невиданный расцвет торговли и ремесел.

О процветании торговли не гнушались беседовать и в салоне княгини Зинаиды Александровны Волконской, блестяще образованной молодой дамы, приехавшей в Одессу на морские купания. Княгиня владела в Новороссии девятнадцатью тысячами десятин пахоты, и вопросы торговли хлебом не были ей чужды. Это после посещения с Сен-При ее салона Батюшков напишет Александру Ивановичу Тургеневу шуточные строки: «...Впрочем, нынешний год хуже прошлого, и торговля скифскою пшеницей идет плохо. В Италии урожай, и все здесь плачут. Вот как трудно Провидению угодить на всех! А мы, поэты, хотим всем и каждому понравиться, мы все, начиная от Хвостова и до Жуковского, которого обнимаю от всего сердца».

Княгиня Волконская, сочетавшая в себе, по словам современников, прекрасную наружность, ум, разнообразные дарования и редкостное обаяние, заинтересовала Батюшкова.

Обычно сдержанный, робкий, бесконечно застенчивый в своих письмах обо всем, что касалось его личной жизни, интимных чувств и привязанностей, Константин Николаевич в первом же послании из Одессы писал: «Сейчас еду к княгине Зинаиде... Она здесь поселилась и все у ног ея. Она, говорят, поет прелестно и очень любезна». В упомянутом уже письме Тургеневу, в письмах Оленину и Гнедичу из Одессы отныне появится имя очаровательной княгини: «Здесь И. М. Муравьев и княгиня Зинаида Волконская. Приехали для моря...», «...княгиня Зинаида, у которой я просидел целое утро...».

В светской болтовне наедине с поэтом вряд ли заходила речь о пшенице — Зинаида Александровна, помимо увлечения музыкой, питала подлинную страсть к литературе. Ее стихи появлялись в «Северных цветах», «Галатее», «Телескопе», «Московском телеграфе», «Дамском журнале». Она начала писать роман в прозе

«Ольга», но за недостатком времени (рауты, балы, приемы) никак не могла его закончить. Как бы ни были слабы ее литературные опыты, Батюшков не мог не читать их. Кроме того, круг их знакомств и связей в обществе неизменно сходилась у самой вершины писательского Олимпа. Благодарных тем для бесед, таким образом, у них было предостаточно. И беседы эти, надо полагать, были обоюдодриятны. И время летело быстро, незаметно, настолько незаметно, что поэт порой терял чувство меры, допуская вопиющее нарушение светских приличий.

«...Просидел целое утро...» у молодой дамы, у которой, по свидетельству историков, «сам император все-российский» в бытность Волконской в Теплице, Праге, Париже и Вене, «испрашивал позволения быть в ее обществе».

Что это? Вполне оправданное стремление друг к другу высокообразованных молодых людей, вырванных из привычного круга и «волею провидения» оказавшихся в провинциальной глуши? Или снисходительно-благосклонное желание скупающей красавицы из высшего света облагодетельствовать своим вниманием премилого тридцатилетнего литератора и недавнего гвардейского офицера, хотя и очень рано подавшего в отставку, но не утратившего ни выправки, ни светскости, ни лоска? Или нежданно для поэта вспыхнувшая сердечная привязанность, в которой он побоялся бы признаться даже самому себе?

Прекрасные, едва ли не лучшие строки любовной лирики Батюшкова, вошедшие в сокровищницу мировой поэзии: «О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной!»... — увы! — адресовались не княгине Волконской. Зинаиде Александровне будет уготована иная участь в классической литературе: ее увековечат в своих стихах Александр Пушкин и Адам Мицкевич. Батюшков же, кроме нескольких упоминаний ее имени в письмах из

Одессы, не оставит иных зримых свидетельств своего интереса либо привязанности к З. А. Волконской.

Однако нелишне еще раз вспомнить особенности характера Константина Батюшкова, необычайную застенчивость, скромность и даже скрытность которого подчеркивали все хорошо знавшие его современники.

«Здесь Корсаков... Новосильцев...», — вскользь упомянет Батюшков в первых письмах из Одессы о людях ему неприятных, позволяя себе в то же время не раз, отбрасывая сдержанность и стеснение, писать и писать об «очень любезной» княгине, о своих визитах к ней.

Не вправе ли мы подумать, что вслед за всколыхнувшимся Батюшкова прикосновением к милой его сердцу древности седой в Ольвии, встречи с Зинаидой Волконской в Одессе становились своеобразным бальзамом для душевного здоровья поэта, долгожданным и прекрасным стимулом грядущего вдохновенного творческого взлета?

ЗЛАЯ ИРОНИЯ

Батюшков буквально вымучивал письмо покровителю своему Алексею Николаевичу Оленину. В разгар жары от одиннадцати утра до трех часов пополудни Константин Николаевич был предоставлен самому себе, мог прогуливаться, выискивая тень, со своими мыслями наедине, мог писать письма.

Какая мука — эти письма. Правда, Александру Ивановичу Тургеневу, Николинке Гнедичу они писались как бы сами собой, но Оленину? Да еще в такую духоту...

«...Я пишу Вашему превосходительству из Одессы»... Батюшков принялся старательно и многословно рассказывать, как он попал в имение Кушелева-Безбородьки — с. Ильинское, где некогда была Ольвия, описывать глиняную урну древности невероятной, которую он приберег для Оленина, рассказал о водопроводной трубе, че-

рез которую вода до сих пор «проистекает» в Буг. «Одно колено сей трубы я взял с собою и постараюсь привезть. Не угодно ли будет Вашему превосходительству поставить ее в библиотеку, или в ваш кабинет... При том сохраню для вас две медали, одну из них подарил мне г-н Бларамберг, у которого прекрасное, единственное в своем роде собрание обломков, медалей и статуй. Вы его знаете, он шурин г. Розенкампа (автора исследования о «Кормчей книге»). Здесь в Одессе я пользуюсь его благосклонностью и кабинетом. Жаль, что он не публикует его!» Намек на то, чтобы граф заинтересовался коллекцией Бларамберга, был, пожалуй, грубоват, но Батюшков, немного поразмыслив, принялся писать дальше: «Сен-При... недавно послал Вам любопытные рукописи для библиотеки...» Рукописи эти отобрал Батюшков сам, а Сен-При ничего не оставалось, как написать Оленину любезную препроводительную записку.

«...Г. Ланжерону я вручил письмо кн. Голицина и надеюсь иметь фирманы в Крым...» А это уже серьезно. В Одессе Батюшков неоднократно виделся с Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, отцом Сергея. Да, Иван Матвеевич собирался в Тавриду, чтобы потом написать исследование о ней для Российской академии наук. Это был запасной ход Батюшкова. Если царь откажет в поездке в Неаполитанскую миссию, можно будет оправдать отпуск, направившись со старшим Муравьевым-Апостолом в Крым. Но тот покамест отсиживался в Одессе, которую «страстно любил», и занимался чтением классиков и ученых исследований о Тавриде. Поездка не могла состояться сразу и вдруг, сроки ее определяли в академии. Поэтому, видно, Оленин так безнадежно и махнул рукой, отпуская Батюшкова на юг.

«...Если удостоите меня ответом, то покорнейше прошу адресовать на мое имя в канцелярию г. Ланжерона. Отсюда перешлют исправно письмо ваше, которому

я обрадуюсь больше, нежели медалям Пантикапеи и так называемой могиле Митридатовой. Преданный ваш слуга К. Б.»

Батюшков перечитал последнюю фразу: «письмо ваше, которому обрадуюсь больше, нежели...» Не прозвучит ли она для Оленина как прозрачный намек на то, что он еще питает какие-то иллюзии и прочее? Виновница душевного потрясения Батюшкова, та, самая прекрасная в мире — девятнадцатилетняя русая красавица Анна Федоровна, у которой поэт, «не встретив взаимности, с благородной гордостью поспешил отступить от всяческих исканий», жила и воспитывалась в доме Олениных. А вдруг письмо попадет в ее руки? Это оказалось бы, пожалуй, совсем лишним, ибо его душевная рана незаметно стала затягиваться, а боль — мало-помалу утихать.

Обрадуюсь больше, нежели... Обрадуюсь больше... Обрадуюсь... Перебелять письмо наново было выше его сил. И Константин Николаевич сделал уклончивую приписку, чтобы спрятать пресловутое «обрадуюсь». Ведь и он и Оленин знали, что один совсем не так уж рад будет получить письмо из Одессы, а другой никак не придет в восторг от прохладно-любезного ответа из Петербурга.

«С. И. Муравьев выехал вчера в П-г. Я не успел писать с ним и пишу с почтою. Ему прошу поклониться и сказать «*parataci*» при первом же свидании. Это шуточка из итальянской оперы, которая здесь процветает вместе с пшеницею, Ришельевским лицеем и торговлею...»

Он хотел добавить «и пылью». Но упоминание о ней как о большом неудобстве Одессы могло обеспокоить Оленина. В Ришельевский лицей в Одессе был отдан племянник Алексея Николаевича.

Батюшков побывал в лицее, подивился царившим там эффектно-уставным порядкам и строгой методе обу-

чения. Лицейсты зубрили историю Великой Франции, культуру Великой Франции, искусство Великой Франции, а о варварской России им предоставлялось думать что угодно, но только по-французски. Аббат Николь, немногословный, скрытный, властный, произвел на Батюшкова гнетущее впечатление. Всеведущий Корсаков объяснил это очень просто: ходили упорные слухи об изгнании иезуитов из России, поэтому рассчитывать на добродушие и откровенность аббата Николая было напрасно. В письме к Оленину Батюшков не стал вдаваться в подробности и добавил скупое: «Племянник ваш здоров. Я вчера видел почтенного Николая, который им очень доволен. Лицей в цветущем состоянии».

Как и следовало ожидать, Оленин не ответил на письмо Батюшкова, но подробностями о Ришельевском лицее, где учился его племянник, просил поинтересоваться Александра Ивановича Тургенева. Батюшков добросовестно отписал Тургеневу о своих наблюдениях и закончил весьма эффектно: «Лицей есть лучшее украшение Одессы»...

Скажи кто-либо Батюшкову, что он должен прожить в Одессе несколько лет, и он немедленно открыл бы здесь множество неудобств и недостатков. Но он был всего лишь гость, приезжий, живший предвкушением лучшего будущего и поэтому видевший все окрест себя в призрачном неверном свете.

Батюшков удивлялся, что у этого совсем еще ребенка — Одессы — уже есть своя история.

Дом коммерции советника Рено, где гремели балы и встречали царя, где блистала очаровательная княгиня Зинаида, был построен на месте турецкого комендантского дома. Оказывается, раньше на берегу бухты находились турецкое селение Хаджибей и крепость Ени-Дунья. Их развалины были еще свежи и потому менее интересны, чем, скажем, Ольвия. От них отнюдь не веяло «прелестным духом древности». Они мели и

трескались от духоты в забытьи и невнимании под равнодушным слоем пыли.

Пыль в Одессе была поистине всепроникающая. Корсаков и Батюшков спустились в гавань и наблюдали такую картину: привыкшие к влажным и свежим просторам матросы-греки, отчаянно ругаясь, занимались непотребным для моряков делом — выколачивали парусную оснастку, тюфяки и грязные одеяла, а потом сметали с палубы целые клубы вчерашней пыли. При малейшем дуновении ветра пыль поднималась столбами и висела или носилась над городом до вечера. А утром воздух снова был чист и светел. И Батюшков с Корсаковым отправлялись купаться.

Море настраивало на философский лад.

«Берега Черного моря! — писал Батюшков в Петербург, — берега, исполненные воспоминаний, и каждый шаг здесь важен для любителя истории и отечества. Здесь жили греки, здесь бились Суворов и Святослав...»

...Сегодня не следовало купаться. Недобрый цвет был у моря. Сердито накатывались волны, глухо и с раздражением шипели, уползая обратно. Но место было проверенное, и не хотелось уходить.

Вода обожгла тело. Сегодня она напомнила вдруг далекие Аландские острова и ледяной залив Финский. Нужно было согреться движением, но тут случилась судорога. Коварная рана еще раз жестоко напомнила о себе...

ПОСЛЕ БУРИ

Человеческая фигурка, только что в растерянности метавшаяся у кромки прибоя, быстро приблизилась и оказалась перепуганным до полусмерти Корсаковым.

Батюшков медленно огляделся, окончательно приходя в себя и не отдавая еще отчета, что гулкая и свирепая

полоса пены и брызг, отделявшая бурную стихию от земной тверди, имеет прямое отношение и к его жизни, заново дарованной...

С помощью Корсакова Константин Николаевич кое-как добрался к Сен-При и был тотчас же уложен в постель. На четвертый день, однако, он уже сидел у Бларамберга в кабинете и писал:

«Почтеннейший Александр Иванович!.. Странно сказать, я до сих пор не чувствую большого облегчения от купания. Кстати, о купании. Между тем, как дружество пеклось о судьбе моей, я чуть не избавил его от хлопот: купавшись, чуть не потонул в море, так далеко зашел и неосторожно во время бури! Великое количество воды, кою проглотил при потоплении моем, расстроило мою грудь. Три дня страдал. Теперь легче. Голос дружбы вылечил меня совершенно».

Словно какой-то переворот произошел в душе Батюшкова. Он мысленно возвращался к первым дням приезда в Одессу и изумлялся: пролетел едва ли не месяц, и ни строчки из-под пера, кроме нескольких писем. А что такое, в сущности, письма? Средство общения и не более, но не работа. Почти месяц, проведенный в праздности, в визитах, в прогулках, в купаниях... Уж коли провидению было угодно подарить ему жизнь вторично, следовало не терять драгоценного времени, которого и отпущено-то ему неизвестно сколько! Нужно работать, работать, работать. Нужно писать!

«...Николинька, сделай дружбу, переведи мне в прозе, близко, но красиво хор из Эврипидовой Ифигении, мне он очень нужен... Я кое-что написал об Ольвии. В Петербурге переправлю и сообщу твоему просвещению... Не ожидал в себе такой рыси...»

До нас не дошло отдельных записок поэта о древней Ольвии (если не считать упоминаний в известных нам письмах Оленину и Муравьевым). Возможно, Батюшков лишь собирался заняться ими вплотную, но для

этакого деликатного «подстегивания» строптивного и непокорного Николиньки Гнедича, к тому же предельно занятого переводом «Илиады», слегка передвинул время будущее во время прошедшее. А хор из «Ифигении» требовался ему для запева.

Зато «с берегов Черного моря, — напишет его биограф Л. Н. Майков, — где Батюшков напился классическими воспоминаниями, он привез Н. М. Карамзину прекрасное поэтическое приветствие, в котором сравнивал свое восхищение при изучении его труда с тем восторгом, с каким юноша Фукидид слушал чтение Геродота на Олимпийских играх».

*Пускай талант не мой удел,
Но я для муз дышал не даром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел.*

В библиотеке Бларамберга была карамзинская «История государства Российского», и Батюшков, находясь в Одессе, очевидно, освежал ее в памяти.

Батюшков все более чувствовал необычайный прилив энергии и вдохновения, а у людей истинно талантливых такому состоянию неизменно сопутствуют душевная щедрость, доброта, и Константину Николаевичу хотелось разметать, рассыпать их всем. Всем, даже тайному завистнику Корсакову, даже бесталанному Гуржееву...

Ровесник Жуковского и сокурсник его по Московскому университетскому пансиону, Иван Гуржеев некоторое время занимал невидную должность в Одессе, в канцелярии Ришелье. Потом переехал в Полтаву. Пытался переводить с французского, но безуспешно. В писании своем за долгие годы превозмог-таки тайну приготовления заметок о небольших событиях, которые и рассылал в разные журналы в большом количестве. Как все люди подобного толка, он всегда боялся, что его «материалы» кто-то украдет, кто-то перепечатает, и старал-

ся посылать их с верными людьми. Гнедича и Батюшкова Гуржеев не опасался: они не о том писали. Недавно он переслал Гнедичу в «Вестник Европы» заметку о новом памятнике в Полтаве и специально приезжал в Одессу, чтобы получить от Батюшкова ответ Гнедича по столь чрезвычайному случаю.

«Гуржееву уже отдал письмо,— сообщал довольный Батюшков,— и он уже ответил. Поклон мой Дмитрию Прокофьевичу, а также Ивану Андреевичу. Последнему скажи, что басни его здесь в великом употреблении...»

Батюшков, наконец, извлек из саквояжа заветные переложения Уварова из греческой антологии. Мелеаг Гадарский, Асклепиад Самосский, Павел Силенцарий... Звучные и совсем забытые его поколением имена. Всего двенадцать стихотворений отобрали Батюшков и Уваров из сборника избранных поэтов Греции, изданного в конце XV века. Двенадцать избранных среди избранных.

Переводилось легко, увлеченно. Стихотворные строки словно бы волшебным дуновением приобретали внутренний ритм, упругость, напевность: «...Изнемогает жизнь в груди моей остылой...»

Ах, Уваров, Уваров! Опять: агония жизни, слабеющее сердце... Переложения Сергея Семеновича с греческого на французский пронизывала тема неизбежной гибели зачарованного гармонического мира. А Батюшков чем дальше, тем настойчивее ощущал потребность совсем в иной — светлой, мужественной теме. Поэту, заново пережившему радость бытия, хотелось прославить презрение человека к смерти, его извечную борьбу с опасностями...

«С ОТВАГОЙ НА ЧЕЛЕ...»

Благим намерениям арзамасцев выпустить солидный журнал не суждено было осуществиться. Лишь полтора года спустя давний друг Батюшкова и Уварова Д. В. Дашков издаст переводы из греческой антологии отдельной брошюрой³. И уж тут-то критики Батюшкова не поспеют на лестные возгласы: «Совершенство русской версификации!» ...«Какая гибкость, мягкость, нежность и чистота!»

Может быть, так случилось потому, что критики «догадались» о причастности к переводам всесильного Уварова? Но нет.

Бескомпромиссный Вильгельм Кюхельбекер в «Сыне Отечества» поместил специальную статью, в которой, пристально и пристрастно рассматривая русские версификации Батюшкова, употребил весьма сильные эпитеты: «самый пылкий лиризм», «исполинская сила выражений». А Виссарион Белинский счел «лучшими произведениями музыки» Батюшкова «превосходные, истинно образцовые, истинно артистические переводы из греческой антологии».

Триумф Батюшкова, казалось, был полным. Его переводы, едва достигнув читателя, уже входили в классику. Однако обращала на себя внимание одна маленькая неувязка: Уваровым было представлено двенадцать переложений с греческого на французский, а Батюшков опубликовал тринадцать русских версификаций. Одно из стихотворений, последнее, тринадцатое, как бы выпадало из антологии. Комментируя многочисленные сборники стихов К. Н. Батюшкова, выходившие у нас в разное время, исследователи в молчаливом согласии помечали в вариациях одну и ту же фразу: «Источник XIII-го стихотворения, не вошедшего в состав антологии, неизвестен»⁴.

Тем не менее при каких-то неведомых обстоятельствах мужественное, самое оптимистическое стихотворение цикла, тогда, в начале прошлого столетия, все-таки сопричислено и Батюшковым, и Уваровым, да и, косвенно, издателем сборника Дашковым к антологии избранных поэтов Греции.

Переводы Батюшкова в брошюре дашковского издания предваряла большая статья «О греческой антологии». Автор ее С. С. Уваров, пространно высказавшись по поводу «богатой руды» — «несметных сокровищ древней литературы, донныне у нас неприкосновенных», подробно разбирал все двенадцать стихотворений, переведенных с греческого на французский. Далее шло отдельно озаглавленное «Прибавление», несколько уклончивый тон которого откровенно настораживал:

«Желая облегчить труд поэта, обогащающего нашу словесность сими прелестными произведениями греческой поэзии, сотрудник его в одно время переводил те же самые пьесы на французский язык. Эти стихи были написаны не для Парижа, как и русские не для Петербурга... Дружеское соревнование, удовольствие сличить силы двух или трех языков, учиться их механизму, наслаждаться их красотами — вот цель и возмездие сих опытов».

«Прибавление» заканчивалось шутливой репликой Уварова о том, сколь ехидно отозвался бы «насмешливый старик» Вольтер «при чтении стихов французских, написанных в «Арзамасе».

После этой вполне самокритичной реплики переводчика публиковались двенадцать (!) переложений с греческого на французский. Затем...

И вот здесь начиналось самое, казалось бы, невероятное, непонятное.

Через типографскую отбивку следовало еще одно прибавление, непосредственно касавшееся тринадцатой «пьесы»:

«Сверх сего, найдена еще на оберточном листе издаваемой нами рукописи следующая надгробная надпись, с греческого переведенная».

Но безо всяких промежуточных переложений с греческого на французский, как это было сделано с предыдущими двенадцатью стихотворениями, далее публиковалось упомянутое тринадцатое стихотворение Батюшкова, начинавшееся словами: «С отвагой на челе и с пламенем в крови...»

«На оберточном листе»... «надгробная надпись», вдруг проникнутая редкостным жизнелюбием, торжеством мужества и отваги, наконец, место стихотворения в переводах — «роковое», тринадцатое — все это напоминало откровенную литературную мистификацию.

Вряд ли кто-нибудь осмелился заподозрить Белинского или Кюхельбекера в поверхностном знании классической поэзии древних. Однако в той же своей рецензии в «Сыне Отечества», недоумевая, откуда же могла взяться «пиеса XIII», Кюхельбекер, например, предлагал издателю брошюры «О греческой антологии» Д. В. Дашкову объясниться по поводу «надгробной надписи», «которой мы, признаться не понимаем».

Объяснения не последовало. Его и не могло быть по причинам, которые, надеемся, прояснятся ниже. Зато попытки загладить явную неловкость в связи с появлением уваровской неуклюжей шутки о «надгробной надписи» были предприняты неоднократно.

Комментаторы трехтомного собрания сочинений К. Н. Батюшкова, увидевшего свет в 1885—1886 годах, Л. Н. Майков и В. И. Саитов в качестве отправной точки использовали слова Уварова: «...надпись, с греческого переведенная». И свою оградительную концепцию построили на том, что несколько лет спустя «подобные же переводы» были предприняты бывшим издателем антологических стихотворений Д. В. Дашковым.

«Последняя (XIII) из пьес, вошедшая в ряд подражаний Батюшкова, была переведена и Дашковым, — утверждали комментаторы трехтомника, неожиданно добавляя без каких-либо ссылок на источники, не приводя ни единого документального подтверждения своим словам. — В подлиннике она помечена именем Феодорида».

Итак, спустя некоторое время после Батюшкова поэт Д. В. Дашков якобы также перевел тринадцатое стихотворение «С отвагой на челе...» и таким образом легализовал, узаконил его как переводное, а не самостоятельное, Батюшковым созданное. Следовательно, ни о какой мистификации не могло быть и речи, поскольку подлинник «пьесы XIII» уходил своими корнями в глубокую древность, к Феодориду.

Откуда же явилось имя забытого древнегреческого поэта? Не располагая, по-видимому, вообще никакими доказательствами на сей счет, комментаторы принимались объяснять это тем, что Дашков-де, путешествуя в 1820 году по Греции, интересовался антологией, «пытался разыскивать и рукописи этого сборника». Чьи же рукописи? Феодорида? Комментаторы, в другом уже томе, делали еще одну ссылку (на ссылку), что в Греции, мол, Дашков пытался «отыскать всего Тита Ливия, Диодора, Мелеагра, Филиппа Фессалоникского, Агафия»... А где же Феодорид? Увы, авторы комментариев вообще о нем больше не вели речи, единожды голословно упомянув его имя. Сославшись же на «вторичного» переводчика антологии Дашкова, они словно бы сбрасывали тяжкий груз с плеч.

А откуда, собственно, возникло имя самого Д. В. Дашкова уже не как издателя, а как самостоятельного переводчика, шедшего по стопам Батюшкова и Уварова?

Здесь обнаруживались новые и, на первый взгляд, еще более туманные обстоятельства, упорно наводившие

на мысль: а не являемся ли мы свидетелями еще одной давней мистификации, неизбежного следствия первой, учиненной на сей раз уже друзьями Батюшкова и Уварова по бывшему «Арзамасу» — поэтами Д. В. Дашковым и... П. А. Вяземским? Учиненной не без отчетливо поставленной цели? Уж не выручали ли они чем-то своих старых друзей, пойдя на заведомую... «неточность»?

В «Северных цветах» (1825) были анонимно опубликованы переводы (в том числе и «последней (XIII) из пиес») под заголовком «Цветы из греческой антологии» с тремя звездочками вместо подписи. И только на одном-единственном экземпляре, хранившемся в императорской библиотеке, рукою П. А. Вяземского была сделана пометка, что стихотворения под тремя звездочками принадлежат перу Д. В. Дашкова. Пометка эта и позволила, очевидно, комментаторам Батюшкова утверждать: «Можно не сомневаться, что под впечатлением переводов Батюшкова из антологии были предприняты подобные же переводы Д. В. Дашковым».

Но почему же комментаторы в таком случае не сочли возможным упомянуть здесь имя также промежуточного переводчика и автора «Прибавления» о вдруг найденной «на оберточном листе» «надгробной надписи», то есть явного соучастника батюшковско-уваровской мистификации? Зачем Дашкову и Вяземскому, а через полвека Майкову и Сайтову потребовалось задним числом, пусть и бездоказательно, но все же прикрыть имя Уварова во всей этой истории с «пиесой XIII», прикрыть забронзовелым в вечности и потому уже неподвластным ревизии именем древнегреческого поэта?

Вернемся на минуту в год 1825-й, когда «Северные цветы» явили читателям дашковские «Цветы из греческой антологии», заглянем в напряженный, нервный и уже чреватый жесточайшими репрессиями год подготовки и проведения восстания декабристов.

Батюшков к тому времени навсегда исчез с общественного горизонта и, безнадежно больной, скрылся в своем далеком вологодском имении.

Но неизмеримо вознесся и воссиял Уваров. Он уже не просто попечитель Петербургского учебного округа. Он — президент Российской Академии наук, один из ярых гонителей Пушкина и вскорости — всесильный министр народного просвещения, автор реакционнейшей триединой формулы царизма — «православие, самодержавие, народность», той самой формулы, которую с одинаково верноподданническим рвением будут вколачивать в умы подрастающих поколений равно и в 30-х и в 80-х годах XIX столетия, когда выходило трехтомное собрание сочинений К. Н. Батюшкова, старательно и обильно снабженное комментариями, примечаниями и сносками.

Можно, мне кажется, предположить, что в те годы требовалось всячески, пусть даже задним числом, отвести от крамольного «Арзамаса» с мятежным Пушкиным и будущими декабристами в его составе, с вольнолюбивыми стихами и дерзкими мистификациями на его заседаниях «беспорочное имя» его превосходительства Сергея Семеновича Уварова, и уж если не увести полностью в тень, то хотя бы всемерно обелить (или затушевать) опрометчивую «шалость», «издержку молодости» сиятельного графа, милостиво потворствовавшего бедному поэту, который вскорости (какая бестактность!) заболел душевно.

Однако посмотрим, из-за чего же столько лет разгорался сыр-бор? Что же это была за «пиеса» под «роковым» тринадцатым номером? Вот она, полностью, короткая и очень емкая:

С отвагой на челе и пламенем в крови

Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна.

О, юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!

Вверяйся челноку! Плыви!

Это стихотворение Батюшкова, «поэтизирующее завидную участь вступающего в поединок с бурей и не страшасьегося гибели смельчака», видный советский литературовед Н. В. Фридман соотносил в своей последней книге «Поэзия Батюшкова» с оригинальным стихотворным циклом поэта «Подражание древним» — героическим гимном жизненной борьбе.

Автором вступительной статьи к одному из последних изданий стихотворений Батюшкова Г. П. Макогоненко было высказано и такое предположение: «Как известно, в последующем Батюшков от переводов антологических стихотворений перейдет к созданию оригинальных «подражаний древним». Можно предположить, что последняя его (XIII.— Н. Б.) пьеса — первый опыт такого подражания... Здесь торжествует знакомый уже нам мотив мужества и отваги».

Смотрите, как, двигаясь разными путями, оба исследователя («Поединок с бурей» — у одного, у другого — «первый опыт... «подражаний древним») приближались к единой истине. Им оставалось сделать последний и, пожалуй, единственно верный шаг: рядом с «пиесой XIII-й» положить цитированное уже нами письмо Батюшкова А. И. Тургеневу от 30 июля 1818 года и сравнить такие, например, стихотворные и эпистолярные строки:

«Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна» и

«Купавшись, чуть не потонул... во время бури!»

Сходство ситуаций в стихотворении и письме полное. Да и сходство внутренних состояний автора поэтического текста («С отвагой на челе и с пламенем в крови») и самого Батюшкова, объективно оценившего в письме свою опрометчивую порывистость («...в море так зашел далеко и неосторожно») также очевидно, особенно если учесть, что «существовало определенное несовпадение действительной биографии поэта с воз-

вышненным приподнятым образом «поэта», создаваемым Батюшковым сознательно в своих стихах», о чем справедливо писал Н. В. Фридман в книге «Поэзия Батюшкова».

Если сопоставить, в дополнение к сказанному, еще и даты пребывания Батюшкова в Одессе со сроками завершения переводов из антологии (а они совпадут), можно с уверенностью сказать, что стихотворение Батюшкова «С отвагой на челе...» является его собственным оригинальным произведением. «Подключение» же «пиесы XIII-й» к циклу переводов из греческой антологии не что иное, как пронизанная оптимизмом и жизнелюбием легкая мистификация, задуманная совершенно в духе остроумцев и острословов из «Арзамаса» — следствие необычного прилива творческих сил и вдохновения, которые ощутил в себе тридцатилетний поэт, «вторично родившийся» после бури.

В дом Сен-При пришло, наконец, известие о том, что просьба Константина Николаевича удовлетворена и он должен в ближайшее время отбыть к месту новой службы в русскую миссию в Италию.

«Прошу тебя, милый Никитинька, поговори с Роспини, выпиши у него все книги об Италии и вручи мне реестр...», — экстренно отписывал Батюшков из Одессы троюродному брату, вновь собираясь в дальнюю дорогу.

Опять предстояло пережить изнурительное бездорожье на бесконечном пути от Одессы до Москвы, от Москвы до Петербурга и от Петербурга — бог весть куда, на Апеннинский полуостров.

В начале 1819 года Константин Николаевич был уже в Венеции, а к знаменитым ежегодным карнавалам приехал в Рим.

Италия поначалу произвела на Батюшкова огромное впечатление. «Сперва бродил как угорелый, — писал он

домой, — спешил все увидеть, проглотить». Потом его посетила грусть «о снегах России, о людях, ему драгоценных». Но поэту удалось превозмочь себя. Константин Николаевич принялся за цикл стихов под скромным названием «Подражание древним». И вновь зазвучали в них темы мужества и отваги, смелости и умения преодолевать любые опасности и трудности на жизненном пути — темы, удивительно созвучные передовой вольнолюбивой литературе декабристской эпохи.

*Ты хочешь меду, сын? Так жала не страшись;
Венца победы? — Смело к бою!..*